

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Ответственный редактор
А. М. ГРАЧЁВА



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
1994

Рецензенты Л. Н. КЕН, С. Ю. ЯСЕНСКИЙ

ISBN 5-86007-024-1

© Институт русской литературы (Пушкинский
Дом) Российской Академии наук, 1994
© Издательство «Дмитрий Буланин», 1994

ИЗ ИСТОРИИ ПРОТОТИПОВ КНИГИ
А. РЕМИЗОВА «ИВЕРЕНЬ»
(Ф. И. ЩЕКОЛДИН)

Федор Иванович Щеколдин является одним из героев книги воспоминаний Ремизова «Иверень». Ему посвящена глава «Семь бесов», в расширенном виде впервые опубликованная в 1927 г.¹ Глава имеет подзаголовок «Старец», как бы дающий стилиевой камертон для изображения Щеколдина. Его образ рисуется Ремизовым в соответствии с каноном древнерусской агиографической литературы: «Федор Иванович Щеколдин кореня костромского и речь его округлая.

И как станет, бывало, в красный угол под вербу —
«власы поджелты, брада Сергиева!»

«Эх, — подумаешь, — Федор Иванович! Стоять бы тебе в старчестве, проводить житие в пустыне среди полей и лесов Богу на послушание человеком в научение. А какие там цветы цветут, а какие колокольчики! Жить бы тебе в пустынной келье у березок — благословенных белых сестер!»

Федор Иванович в миру жил, с нами: хотел устроить нашу жизнь «совестно». С малых лет запала ему в душу от житий угодников и подвижников эта «совестность».

Федор Иванович в миру жил и, делая грязное и полезное дело, видимое и понятное на «сей день», и, как всякий из нас, ошибаясь и плутая в выборе средств устранить этот тягчайший «сей день», его беду, несправедливость и бесовство, никогда, никогда не забывал заповеданное от пустынки — «совестное», хранил пустынный завет:

«только через „отречение“ и „жертву“
человек подымается духом для совершения дел,
направляющих нашу спутанную жизнь, не распутываемую
домашними житейскими средствами — враждой и ложью!»

Так сам он мне однажды признался, когда я ему о пустыне — его любимых колокольчиках да березках, благословенных белых сестрах, свои мысли вслух говорил.

В заботах о нас проходила жизнь Федора Ивановича: ему хотелось собрать нас, беспастушных, растерявшихся в безвре-

менной жизни среди печорской дебри о-бок с медведем да Ягой-Буробой».²

Подобно многим персонажам автобиографической прозы Ремизова, Щеколдин, как герой книги «Иверень», также возник в результате переплетения воспоминаний о реальном человеке с столь характерным для писателя мифотворчеством. Каковы же подлинные свидетельства о Щеколдине и каково их соотношение с художественным образом, созданным писателем?

Ф. И. Щеколдин родился 29 мая 1870 г. в с. Вичуга Кинешемского уезда Костромской губернии и происходил из купеческой семьи. Щеколдины — известный в Шуе и Кинешме купеческий род. Происхождение мальчика обусловило его любовь к старине и религиозность. Поздний рассказ Щеколдина «Потомственные почетные» имеет автобиографический подтекст и воссоздает среду его детства. Герой рассказа — сирота попадает на ткацкую фабрику. Тяжелый труд, грубое и чуждое окружение, обиды — непосильным грузом ложатся на неокрепшую душу мальчика. Утешение он находит в молитве: «В лесу на Крутихе свернул с тропы, вышел на лужайку. В кустарнике и совсем разрыдался, без звука, и все мысли потерялись. Уткнулся ничком, только плечи вздрагивают.

Вдруг звон: за всеобщей к евангелию звонили.

Очнулся Павлушка: как до сих пор помолиться не вспомнил, про угодников своих позабыл! — Заторопился, сместерил крест из двух палочек и поставил посреди лужайки.

— Сюда и буду теперь ходить молиться!

... Все лето сохранялся крестик. Зайдет Павлуша в субботу, ограду из камней поправит. — Здесь его «пустыня», Может он тут и церковь построит, когда большим станет. Может быть даже монастырь...»³

Публикуемый ниже другой рассказ Щеколдина: «Казанская» является воспоминанием о еще более ранних детских годах, согретых светом божеской благодати и пронизанных горечью от ее утраты. Он дает возможность почувствовать тонкую и чистую душу Ф. И. Щеколдина, так полюбившуюся Ремизову.

Ф. Щеколдин окончил Кинешемское уездное училище, есть сведения, что он также обучался в каком-то учебном заведении в Москве. В конце 1898—начале 1899 г. Щеколдин впервые привлекался к дознанию по обвинению в принадлежности к кружку, образовавшемуся в Иваново-Вознесенске для социал-демократической пропаганды. Кружок этот был связан с московским «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса». Будучи церковно-приходским учителем, Щеколдин распространял прокламации среди фабричных рабочих в шуйском уезде.

За подобную деятельность он был определен под особый надзор полиции и со 2 апреля 1899 г. поселился в Воронеже, где служил в земской управе. В Воронеже Щеколдин завязал немало знакомств с местными ссыльными. 9 февраля 1900 г. Щеколдин был выслан под гласный надзор полиции на два года

до февраля 1902 г. в Вологодскую губернию. В Устьсысольске он познакомился и подружился с Ремизовым, внесшим немалый вклад в атмосферу интеллектуальных бесед и шуточных мистификаций, свойственную и Вологде — «северным Афинам», где в то время был Луначарский и Бердяев, Щеголев и Савинков. Об одной из проделок молодых ссыльных рассказывается и в воспоминаниях Ремизова о Щеколдине.

Некий Подстрекоз, — («так окрестил смутьяна Федор Иванович Щеколдин, человек учительный и верховный») — в котором легко угадывается сам А. М. Ремизов с его страстью к розыгрышам, мистификациям, проделкам («оплешничкам», как говорил Федор Иванович) «уловляет», наконец, и Ф. И. Щеколдина. В Великую Субботу перед тем как идти в церковь он предлагает подстричь Щеколдину бороду. При этом он так вдохновенно и с таким знанием дела вспоминает московские пасхальные службы, что Федор Иванович, как замороженный, не замечает ни времени, ни того, что от его бороды, делающей его похожим на преподобного Сергия Радонежского остался колышек. «И пришлось усы кверху подпернуть — пусть уж лучше Мефистофель! Подстрекоз ему и закрутил их, на кончиках тоненькие — мышиный хвостик.

И вышли на волю: Подстрекоз и «Мефистофель».⁴

Сопоставим описание из ремизовского текста с фотографией Ф. И. Щеколдина тех лет, хранящейся в его личном деле в архиве Департамента полиции:⁵ «чеховская» бородка, усталый, мягкий взгляд из-под полуопущенных век.

В апреле 1902 г. Щеколдин возвратился в Воронеж, однако по агентурным сведениям он в мае 1902 г. вновь занимался пропагандой среди фабричного населения Шуйского уезда. Щеколдин использовал для этого свои родственные связи: в Шуйском уезде жили его сестры Юлия и Анна, в Иваново-Вознесенске — дядя, другой дядя — в селе Новая Галачиха.

При обыске у Щеколдина обнаружили адреса, свидетельствовавшие о его связях с «Искрой» и «Зарей».⁶ Щеколдину удалось скрыться от ареста и 13 июля 1902 г. выехать в Германию.

В Берлине под именем «Степана Рунова» Щеколдин продолжал активно заниматься революционной деятельностью. 23 мая 1903 г. Щеколдин был случайно арестован в Шарлоттенбурге за проживание по подложному паспорту на имя болгарина Димчо Попова. После установления личности он был выслан в Россию.

Возвращение Щеколдина в Россию не осталось незамеченным. Может показаться невероятным, но полицейское досье содержит сюжет «о бороде Щеколдина», аналогичный рассказу-воспоминанию, точнее мифу, сложенному о Щеколдине А. Ремизовым.

9 января 1904 года к надворному советнику, бывшему члену Ковенского губернского по крестьянским делам присутствия Федору Алексеичу Михайловскому прибыл из Вильны «некий

приезжий, приметы коего: лет 35, выше среднего роста, шатен, лицо смуглое и немного продолговатое, большие толстые растрепанные усы. Лицо это прибыло с отпущенною бородой и большими волосами, но в тот же вечер коротко обстриглось, а также обстригло бороду, придав ей форму французской».⁷

Несмотря на усиленную слежку Щеколдину удавалось скрываться от полиции. Следы его обнаруживались то на Дону, то в Смоленске, то в Полтаве, то в Киеве, то в Орле. Щеколдин (партийные клички «Дяденька» и «Повар») заведовал складом социал-демократической литературы и имел обширные связи в революционной среде. Он посещал Петербург и Москву, где в феврале 1905 г. был случайно арестован на квартире Инессы Федоровны и Владимира Евгеньевича Арманд.⁸ Супруги Арманд, которые как и Щеколдин, принадлежали к социал-демократической партии, налаживали связи с социалистами-революционерами с целью приобретения оружия для партии, для чего поселились на одной квартире с одним из участников московской террористической группы, занимавшейся изготовлением взрывчатых веществ и метательных снарядов.

«К сему присовокуплю, что из числа передаваемых лиц, Владимир и Инесса Арманд до последнего времени, по имеющимся секретным сведениям, принадлежали к местной социал-демократической организации, чем и объясняется обнаружение в их квартире представителя Центрального Комитета этой партии, убежденного и весьма серьезного социал-демократического деятеля Щеколдина. Последний, по имеющимся сведениям, прибыл в Москву для принятия участия в состоявшемся 9-го февраля съезда районных представителей Центрального Комитета означенной партии, арестованных в квартире литератора Леонида Андреева...».⁹

Революционные события освободили Щеколдина из-под негласного надзора полиции, по неясным причинам он отходит от революционной деятельности. В начале 1907 г. возобновились его дружеские отношения с А. М. и С. П. Ремизовыми.

В архиве А. М. Ремизова в РГАЛИ сохранились шестнадцать писем Щеколдина к С. П. Ремизовой—Довгелло (1907—1917 гг.), одно письмо А. М. Ремизову 1916 г., а также рукописи стихов и рассказов Щеколдина с правкой Ремизова.¹⁰

Первое письмо Щеколдина от 12 января 1907 г. послано на адрес Н. А. Бердяева (Саперный пер. 10), так как адрес Ремизова был ему неизвестен.

В письме Щеколдин сообщает А. М. и С. П. Ремизовым о смерти их общего знакомого по вологодской ссылке Адама Дионисиевича Рабчевского. Революционера, юриста по образованию Адама (Андрея) Дионисиевича (Макариевича) Рабчевского (1877—1907) — Ремизов помянул в «Иверени»: «И по соседству — Адам Дионисиевич Рабчевский, о котором слава, как о будущем знаменитом адвокате («на одном собрании два часа без передышки говорил»), писал стихи, но не печатал ...».¹¹

«Я видел его за день до смерти, принес ему журнал „Перевал“ и как раз они захотели, (что) б(ы) я прочел ему рассказ Ал(ексея) Мих(айловича), вообще они следили за писаниями Ал(ексея) Мих(айловича), только сказку, то в «Тропинке», я так не мог достать ему. Так он и не узнает ее, этой милой сказочки. М(ежду) пр(очим) она лучше много».¹²

Речь идет о рассказе Ремизова «Без пяти минут барин» (Перевал. 1906. № 1) и сказке «Зайчик Иваныч» (Тропинка. 1906. № 12). Первые шаги Ремизова в литературе, как видим, получили одобрение в среде, казалось бы весьма далекой от литературы.

Во втором письме от 3 марта 1907 г. Щеколдин немного рассказал о себе. В это время он жил в качестве учителя в имении (Станция Буча, Юго-Западной железной дороги). Но кочевая жизнь Щеколдина продолжалась. Третье письмо от 16 декабря 1910 он послал из Пензы, куда недавно переехал и поступил на службу в банк. Все свободное от службы время он посвящает чтению, иногда появляется желание взяться за перо: «м(ожет) б(ыть) попытаюсь кой-что писать, есть даже определенные темы, которые могли быть напечатаны, но как-то все еще не было настроения, не раскачался...» (л. 6).

Щеколдин продолжает внимательно следить за творчеством Ремизова.

«Книжку Алексея Михайловича прочитал всю и уже писал, что больше всего и очень понравился мне «Суд Божий». Читал я его прямо с восхищением. Потом мне немножко было не понравилось это видение гроба. Думалось — лишнее. Но в конце концов этот эпизод придает всему рассказу характер как бы «жития», т. е. меняет характер рассказа, но не уничтожает его красоты. — Тараканомора я не понимаю и потому конец мне не нравится; а написано хорошо и это. — Об остальных всех, кажется, я уже высказался. — Но о. Илларион замечательно хорошо!...» (л. 6 об.).

Речь идет о рассказах только что вышедшего первого тома «Сочинений» — СПб.: Шиповник, (1910).

Щеколдин отметил драматическую историю о священнике, усомнившемся в Боге. О рассказе «Чертик» (Тараканомор — действующее лицо рассказа) Щеколдин подтвердил свое мнение в письме от 17 января 1911 г.: «Хотя „чертика“ я и теперь плохо понимаю» (л. 9 об.).

Среди скуки и однообразия жизни в Пензе письма С. П. Ремизовой были источником живой связи Щеколдина с культурной жизнью Петербурга.

Письмо от 17 января 1911 года написано под впечатлением от рассказа С. П. Ремизовой о заседании Петербургского Религиозно-Философского общества,¹³ посвященного памяти Л. Н. Толстого, которое состоялось 16 ноября 1910 года.

На заседании выступили: Д. В. Философов, Д. С. Мережковский, П. Б. Струве, С. Л. Франк, В. И. Иванов, А. В.

Карташев, А. А. Мейер. Неожиданной оказалась концовка вечера, когда старообрядческий епископ Михаил предложил собравшимся прочитать любимую молитву Л. Толстого «Отче наш». В публике это вызвало раскол. Одни поддержали молитву, некоторые даже стали на колени, но другая часть публики, атеистически настроенная или знавшая, что церковь запретила отпевать писателя, покинули собрание (см. отчет о собрании: Новое время. 1910. № 12460. 18 ноября. С. 5).

Судя по письму Щеколдина, он встал на сторону «толстовцев», «видевший в обряде оскорбление их учителя».¹⁴

«Вот Толстой — это другое дело, и я страшно рад, что он успел все-таки сделать этот последний шаг. Больше ничего и не нужно, важно именно это движение, этот порыв, а не то, что было бы дальше.

Да, все эти корреспонденты и друзья — вроде Сергеенко — могли бы и тут все испортить и опошлить; теперь же это движение души Толстого осталось чистым. У меня оно не выходит из головы. Конечно, было бы очень интересно побывать на Толстовском заседании «Религиозно-философского общества», которое Вы так живо описали. И конечно Неведомский прекрасен в его глубокомысленном неведении. Но меня интересует вот что: что же дальше? Какой след оставит в нашей жизни это событие, по поводу которого мы так хорошо расчувствовались?» (л. 9 об.).

Жалобы Щеколдина на скуку, пустоту и однообразие жизни усиливаются с каждым письмом: «Иной раз так тяжело бывает, Серафима Павловна, что мне кажется, именно в такие дни люди кончают с собой, я не способен на это, но тем тяжелей» (л. 13 об.).

Ремизовы уговаривают, по-видимому, Щеколдина поехать вместе с ними для лечения за границу. Щеколдин выезжает вслед за Ремизовыми. В письме от 20 мая 1913 года он договаривается встретиться с ними в Париже или в Швейцарии.

Письмо Щеколдина 1915—1917 гг. из городов: Кинешма, Павлово Нижегород. губ., Житомира, Пензы, Эссентуков информативны по содержанию. По-видимому, он переехал в Петербург и теперь является частым посетителем литературных вечеров у Ремизова. На одном из них в апреле 1915 г. он познакомился с С. Есениным.¹⁵ Будучи кавалером «Обезвельволпала» Щеколдин вошел в круг литературно-художественной элиты Петербурга начала века.

Щеколдин пробовал свои силы в литературе. В 1916 году в сборнике «Пряник осиротевшим детям. Сборник в пользу убежища «Детская помощь» не без содействия А. М. Ремизова был опубликован рассказ Ф. И. Щеколдина «Солнце играет».

В архиве Ремизова сохранились стихи и рассказы Щеколдина, возможно, отобранные для публикации. Рукой Ремизова надписаны названия стихов и рассказов, но в целом правка незначительна и касается лишь небольших сокращений в прямой речи героев.

Публикуемый ниже рассказ Щеколдина «Казанская» не подвергся правке вообще, значит он наиболее соответствовал эстетическим критериям Ремизова.

В 1919 г. Щеколдин умер от тифа. Ремизов откликнулся на его смерть небольшим некрологом «память поминальная» «Три могилы»: «Вторая могила в Александро-Невской лавре. От сыпного тифа помер Федор Иванович — Ф. И. Щеколдин. (...) С Ф. И. познакомился я в ссылке в Устьсысольске. Он был честнейший человек, самый надежный. И таким знали его во всех уголках России, знали как Федора Ивановича, которому можно доверять и на которого можно положиться.

О его политической деятельности расскажет история революции нашей, я же помяну его великую честность и любовь его к березкам да к цветкам полевым — колокольчикам.»¹⁶

На этом закончился совместный путь по жизни «Мефистофеля» и «Подстрекозова». Но крепкие «узлы и закруты» ремизовской памяти сберегли самое дорогое и близкое ему в личности Ф. И. Щеколдина: лиричность, возвышенность и способность к самоотречению, отдаче своей души «за други своя».

Примечания

¹ Ремизов А. М. Северные Афины. // Современные записки. 1927. — № 30. — с. 258—270. Первоначальная редакция текста в форме рассказа была опублик. в: Биржевые ведомости. 1915. № 14741.

² Ремизов А. М. Северные Афины. С. 264.

³ Щеколдин Ф. И. Павлушкин крест. РГАЛИ. ф. 420. Оп. 1 Ед. хр. 66. Л. 49.

⁴ Ремизов А. М. Северные Афины. С. 270.

⁵ ГАРФ Ф. 10 200. Оп. 226. Ед. хр. 2081. Л. 115а.

⁶ «Искра» — первая общерусская марксистская газета (1900—1903), «Заря» — марксистский научно-политический журнал (1901—1903).

⁷ ГАРФ Ф. 10.200. Оп. 226. Ед. хр. 2081. Л. 82 об.

⁸ Арманд И. Ф. (1874—1920) — член большевистской партии с 1904 г., революционерка, деятель международного женского рабочего и коммунистического движения. В 1893 г. вышла замуж за А. Е. Арманд, впоследствии стала неофициальной женой его брата Владимира Евгеньевича Арманд.

⁹ ГАРФ Ф. 10 200. Ед. хр. 80. Л ЦРЗ / 1898. Л. 146 и об. Речь идет об аресте 9 февраля 1905 г. на квартире у писателя Л. Н. Андреева членов ЦК РСДРП.

¹⁰ Щеколдин Ф. И. «Казанская», «Павлушкин крест», «Потомственные почетные». — Рассказы. РГАЛИ ф. 420. (А. М. Ремизова) Оп. 1. Ед. хр. 66.

¹¹ Ремизов А. М. Иверень. РГАЛИ Ф. 420. Оп. 5. Ед. хр. 16. Л. 94.

¹² РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1. Ед. хр. 90 Л. 1. Письма Ф. И. Щеколдина А. М. Ремизову. (Далее цитируются по этим шифрам только с указанием листа).

¹³ Петербургское Религиозно-философское общество (1902—1903, 1907—1917).

¹⁴ Н. О. (знев). Чествование памяти Л. Толстого в религиозно-философском обществе. // Речь. 1910. — № 316. — 17 ноября.

¹⁵ Есенин С. Собрание сочинений в 6-ти тт. Т. 6. М.: Худ. лит-ра, 1960. С. 60. Письмо от 24.04.1915 А. М. и С. П. Ремизовым: «Федору Ивановичу бюю челом».

¹⁶ Ремизов А. М. Три могилы. // Крашенные рыла. Театр и книга. Берлин: Грани, 1922. С. 133—134.

Ф. И. Щеколдин

КАЗАНСКАЯ

Рассказ

I

Матушка моя не оставила после себя завещания, даже благословить нас перед смертью не успела, не в состоянии была, и одна из родственниц, хлопотавших около умиравшей, взяла ее обессиленную руку и возложила поочередно на наши головы. Казанская же икона Богородицы и без завещания всем без уговора и без возражений признана была за мной.

Старшей сестре в благословение от матери отдали Троеручицу. Об этом матушка при жизни сама говаривала. Троеручица к ней перешла от ее матери, нашей бабушки Александры Феоктистовны, и венец золотой к серебряному окладу на нее бабушка из своих колец сделала. Вот ее и отдали старшей сестре; она же и рукодельница большая была, а помощи в женском рукоделии всегда у Троеручицы просят. Вторую сестру благословили от матери Софией-Премудростью Божьей, в глухой серебряной позолоченной ризе, той же, видно, работы, что на Казанской. А Казанскую — мне.

Небогатая обстановка была у нас в доме. У матушки только наряды дорогие — бабушкино наследство, — в сундуках хранились: меха, атласные салоны, шелка старинные, персидские шали, бриллианты и жемчуга, а в доме лучшим и дорогим украшением иконы были. Из икон же самая лучшая и самая почитаемая — Казанская Пресвятая Богородица: она была хранительницей и заступницей нашей семьи, утешением в горе и участницей в радостях.

В зале срединное место занимала Троеручица, а по сторонам у нее — Деисус, Никола святитель, Царица Александра, Антипий священномученик — зубной целитель, св. Троица. Перед ними пели попы, когда приходили со славой, перед ними молились гости. А Казанская — в мамашиней спальне, не всем видимая, но самая близкая нам, семье. В угловом трехъярусном киоте наверху Спаситель в медном позолоченном окладе, внизу София — Премудрость Божия, а Казанская по средине и перед нею лампада неугасимая.

В долгие зимние вечера, когда у мамыши разбалчивались ноги, лежит она на кровати, возле у ног ее тетка Любовь — разговаривают, старину вспоминают. Сестры у стола с рукоделием, а я читаю, или рисую, и слушаю-запоминаю рассказы про дедушек, бабушек и прабабушек. И тут же с нами наша святыня, Заступница наша, озаренная тихим неугасимым светом, — кроткими глазами смотрит на нас.

В праздник, когда мамаша по нездоровью не поедет в церковь, мы опять все перед Казанской: мамаша с лестовкой читает канон празднику или акафист, а мы за нею с своими подружничками — следим, когда по уставу перекреститься надо, когда кланяться. В великом посту тут же каждый вечер по очереди кафизмы читаем.

Перед Казанской начал я и первое свое чтение молитв по церковной азбуке: мамаша стоит у меня за спиной и, чуть не пойму титло какое, подсказывает, а я, с указкой, разбираю слово за словом давно затвер-

женные молитвы. Здесь же благословляли меня, когда я первый раз отправлялся сперва в школу, потом и на заработки в чужие люди.

И в самую тяжелую минуту моей жизни, когда умерла моя мать и горе мое, детское горе, доходило до отчаяния, до исступления, — неугасимый свет привлек меня к той же нашей Заступнице и Утешительнице. Помню: увидал кроткий знакомый лик, поднялся, подошел к киоту и раскрыл заупокойный канон. Это была первая панихида по моей матери и — первое утешение мое в самом великом горе, постигшем меня в жизни.

Вот какие слезы видала наша заветная святыня, какие принимала молитвы.

II

В благословение от отца мне дали икону Николы святителя, потому дали, что очень любил я эту икону и сам давно выбрал ее для себя. Оклад на иконе посеребренный — модный, но хорошей чеканки. Письмо попортилось, потрескалось, но и письмо хорошее, а самое главное — глаза святителя: куда ни отойдешь, глаза все на тебя смотрят, большие, строгие, гневные почти. И в то же время такие добрые, такие милостивые, что и гнев их не пугает, а только будит чистое желание никогда не заслужить этого гнева, — гнева Николы-Святителя!

Любил я Николу-святителя, любил и его икону. Но Казанскую особенно почитали все мы, не только я, Казанская для всех была особенная, главная, покровительница семьи. Потому ее и отдали мне, что нельзя такую святыню отдать на сторону, унести из дома, а сестрам суждено ведь уйти в чужие семьи.

Казанская не следила глазами, как Никола, и взор у нея был кроткий, задумчивый, устремленный далеко куда-то, в будущее... И лик кроткий, склоненный к младенцу. Непередаваемой благостью, благодатью сиял этот озаренный лик из богатой чеканной ризы. Риза была достойная Царицы небесной, богато и с любовью и тщанием изукрашенная дивными цветами и узорами мастерской чеканки. Вся она искрилась под лампадными тихими лучами, будто камнями драгоценными осыпана; а камней не было, только в многогранных узорах свет разбивался и переливался точно в камнях.

Но и самый блеск ризы был тихий, не бивший в глаза великолепием, как будто блистала она не богатством украшения, а тою же благодатью, какою светился божественный лик, который обрамляла она.

Риза была позлащенная, но от времени и ежегодной предпасхальной чистки позолота сильно стерлась, как бы поблекла и выцвела. Эта блеклость и делала дорогую одежду Владычицы скромной; видно было, что так одета она не для пышности, а потому просто, что Царице небесной подобает такое одеяние — во все дни, а не ради торжественности, и не оно Ее украшает, — для нее оно обыденно, — но само от нее получает свое особенное великолепие.

Заставляла эта поблеклость ризы чувствовать многие уже ушедшие годы, заставляла вспоминать о молитвах дедушек пред этою же иконой, о благочестии бабушек, усердно каждый год начищавших святую ризу к Светлому дню, не жалея, что сотрется дорогая позолота... — Старые родные вещи тем ведь и дороги, что хранят на себе следы прожитого и невозвратного.

III

Не знаю, верно ли скажу, что был я у матушки любимым, но единственным сыном я был у нее, и ласкала ли она кого другого с такой нежностью и с такой грустью, думала ли о ком больше, нежели обо мне?!

Один я забирался, бывало, к ней на кровать и, утонувши в перине, гладил ее маленькую тонкую руку. Она что-нибудь рассказывала мне, разные замечательные случаи из своей жизни, или из жизни дедушек и бабушек: о каждом я знал от нее что-нибудь занимательное и памятное. Другой раз и сам я разболтаюсь, расспрашиваю, рассуждаю своим разумом, а то стану стихи читать. Любимое было у меня, — она же научила:

«Прошли века, пройдут века веков,
На общем кладбище улягутся народы,
Но не постигнет ум Создателя миров
И тайны занавес не снимется с природы.»

На дворе трещит мороз, вьюга воет. Внизу на кухне вокруг железной печки отогреваются возчики, оттаивают бороды, лапти: к вечеру сложили на фабрике дрова, в ночь домой повезут. Заскрипят дровни под окнами. А в спальне жаркая лежанка, и серебром и золотом светится передний угол от неугасимой лампы.

Завещания матушка не оставила, потому и не знаю, было ли у нее обещание поддерживать у Казанской неугасимый свет; но я сам сказал себе, что теперь это мое дело — позаботиться, чтобы возжженная ею лампада не угасла и после ее смерти. И не один год я выполнял этот завет, пока не повернула меня жизнь на неведомые и далекие пути. Годы были такие, такое время, а молодой ум хочет много узнать, и не боится далеких дорог.

Да и то сказать, гнезда ведь у меня не осталось: один как перст, — вот и бродил по вольному, по Божьему свету. Годами да годами не приходилось и побывать в родной стороне. Да и не тянуло в первые годы: белый свет широк, много нового увидел и узнал, много повстречал новых людей, наслушался речей разумных, начитался ученых книг, — прежнее, домашнее стало устаревшим казаться, в знакомой окрестности тесно стало. Сохранилось неизменным только одно.

Наследство мое малое — домашние вещи, какие на мою долю достались, — все у старшей сестры сберегалось. У нее и все иконы, и Казанская, наша святыня семейная. Сестра и лампаду неугасимую стала поддерживать.

Так вот, как доведется, бывало, случай приехать в прежние свои места, побывать у родных, на могилочках родительских, дедовских, чуть ли не на все новыми глазами смотришь: и то не так, неразумно, и другое, и третье передать да переменить бы. И только как приеду к сестре, прежде всего — прямо в передний угол: там ли Она?

Там. Все так же. По-прежнему угловой трехъярусный киот с витыми столбиками озарен неугасимой лампадой и мягко блестит в лучах стертой позолотой богатая чеканная риза. Гляжу и не нагляжусь на кроткий лик с устремленным в будущее материнским взором. Что-то не вспомнится, чего не передумается за короткие минуты.

IV

Много прошло лет, полжизни, а может и вся жизнь — кто мерил! Сестра овдоветь уже успела. У сестры только и радости в жизни — одна дочка. Все ей, все для нее! А дочка, слава Богу, действительно радуется, красавица и учится хорошо. В мать умница.

Получаю как-то от сестры письмо. Давно не видались и пишем друг другу не часто. Читаю, — то, другое, но вот — это и есть главное, ради чего письмо написано:

«Я только и живу мечтой, как бы устроить дочку — найти бы хорошего человека и выдать замуж. Я умерла бы тогда спокойно. Да вот, кстати, если бы она пошла замуж, то могу ли я благословить ее и дать ей икону Казанской Божьей Матери (она ей очень нравится), и если могу, то на каких условиях?»

Такая неожиданная просьба! И с обидным оттенком: «на каких условиях?» Значит — сколько возьмешь? Что ответить? Да так сразу! Никогда ведь в голову не приходило, что могут задать такой вопрос.

Век скитался — не носил с собой заветное наследство, а тут жаль сделалось. Отдать — отказаться. Теперь хоть не у меня, и даже когда случалось подумать — взять от сестры, если бы свой угол удалось устроить, так и то, казалось, не решился бы. Она хранила, она молилась перед ней, и лампаду она поддерживала, — как возьмешь у нее? Сам оставил, ушел, а тут — отнять, хозяин нашелся! Ни за что не решился бы. Отчего бы, подумаешь, и теперь жалеть. Какая разница?

А вот разница. Теперь хоть не со мной, а все-таки как будто знаю, что есть она у меня там: приеду и увижу опять, налюбуюсь, надумаюсь перед ней. Оставил, но не отказался — вот в чем разница!

И все-таки решился, и даже колебался не долго. Никогда ничего не жалел, всегда твердо знал, что лучше дать, чем не дать, и беднее не стал от этого, — так на этом ли покуситься! И с сестрой опять: не решился бы взять от нее икону, а как же тут отказать? У нее одна радость в жизни — дочка: все ей, все для нее! Раздумал так и решился.

И «условия» нашел:

«Хотелось бы, пишу сестре, только одного: чтобы икона осталась в той обстановке, как она к нам перешла, в том же киоте, с теми же окржающими».

Только одно это и высказал условие.

Написал, а через месяц изведают, что и свадьба состоялась. Видно дело-то было и тогда готово, как меня об иконе запрашивали. Ну, дай Бог счастья!

V

Сестра совсем одна осталась. Приезжаю к ней нынче, — сжалась совсем, перебралась из верхней большой квартиры в низок, в двух комнатках ютится на вдовьем положении. Мебель похуже — в сарай, а получше всю тут кой-как посовала. Нагромоздила — пройти тесно, а уютно и все на месте. Умеет уголок устроить.

Смотрю, и киот старый здесь, только на место Казанской Троеручицу поставила.

— Разве, — спрашиваю, — Казанскую-то без киота отдала? А мне хотелось, чтобы все вместе оставалось, как было.

— А разве ты писал об этом? Да, вспомнила, писал ведь. А я совсем и позабыла про это!

Промолчал я, тем и кончили разговор. Стала про зятя рассказывать.

— Хороший, — говорит, — человек, слава Богу, и по службе опередил многих постарше его, дельный! Живут — дай Бог всякому, квартира, хоть небольшая, четыре комнаты, да двоим и этого за глаза. Зато очень уж хорошо обставлена: старинные вещи зять любит, покупает, где попадутся. И дорогих икон много, тоже все собирает да бережет.

Думаю: мода это нынче — старинные вещи собирать. Но все-таки хорошо, что собирает, а не выбрасывает. И захотелось мне посмотреть на Казанскую, как она у них устроена на новом месте.

— Съездим, — говорю, — к ним? Познакомлюсь.

Приехали, познакомились; все ничего. Чай, обед, разговоры; а мне хочется поскорее свое посмотреть. Начинаю вещи рассматривать, похваливаю. Тогда повели показывать всю квартиру.

Две комнаты видел уже; вот третья, а вот последняя, спальня.

Действительно, много икон, весь угол заставлен: киот тройной в три яруса, да и по бокам еще все иконы. Но Казанская-то где же? Всю квартиру прошел. Ах вот она! Не узнал сразу-то, да и тут всматриваюсь: она ли?

В три яруса тройной киот весь заставлен, и все иконы так и горят сплошной позолотой. В левом крыле внизу и Казанская тут же, почему я сразу и не разглядел ее: привык на первом месте ее искать. Зато риза и на ней горит, как самовар о маслянице. Тоже обновили старенькую одежду у Царицы небесной.

Не удержался.

— Зачем, — спрашиваю племянницу, — вызолотила-то? Я вот и не узнал было, не сразу нашел даже.

— А так, — говорит, — все иконы у нас вызолочены, так вот уже и ее вызолотили.

Опять не утерпел.

— Понимаю, — говорю, — чтобы под один ранжир.

Стою и смотрю. И что дальше, то все меньше узнаю свою старую святыню, как будто верно стала она, как все. Икона как икона, письмо хорошее и оклад серебряный, вызолоченный, искусной чеканки.

Но святыня-то моя заветная?..

— Согрешил я перед Тобой, — ушел: неужели и Ты ушла от меня?

Кронверкский пр. 23, кв. 31 ¹

¹ Текст печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1. Ед. хр. 66. ЛЛ. 1—17.